

Рамазан
Токтаров

Степ.
ные
корни

**Рамазан
Токтаров**

**Степные
Корни**

РОМАН

*Авторизованный перевод
с казахского
Юрия Чичева*

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1986



Токтаров Р.

Т 51 **Степные корни: Роман. Пер. с казах.— М.: Советский писатель, 1986.— 432 с.**

Рамазан Токтаров — известный казахский писатель — создал роман о целине. Развернувшиеся в нем события происходят в 1954 году в Северном Казахстане. Книга рассказывает не только о том, как пробудились к жизни веками спавшая степь, но и о духовном возрождении многих людей, поднимающих целину или волей судьбы вовлеченных в эти грандиозные события.

Т 4702230200—085
083(02)—86 309—86

ББК 84.Каз7

© Перевод на русский язык.
Издательство «Советский писатель», 1986 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НАКАНУНЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДЖАМИ

— Мама, хлеба...

— Потерпи, сынок. Вот приедут наши из города, привезут.

— Апа¹, дай кусочек, дай...

— Миленький мой, Джамижан, и крошечки нету...

— Дай хлеба, апа! Хлеба-а-а! Умру без хлеба...

— Да перестань же! Где я тебе возьму? Нет хлеба. Понимаешь, нет! Не добуду же я его из-под земли. Хочешь вот, творогу поешь, айрану² попей...

Мать наклоняется ко мне, и я вижу боль в ее глазах.

Вдруг резкий толчок — и лицо мамы исчезает. Я в машине. Задремал, убаюканный мерным ходом. И в этом кратком дорожном сне привиделась покойная мать. Машина, наехав на колдобину, вытряхнула из меня сон, но память не вытряхнешь ничем. Маленький я тогда был совсем, но помню, как дергал подол материнской юбки и, подвывая, канючил хлеб. Нет, с голодухи мы не пухли, молока было — опеися, творогу и прочего, но ни от какой еды я не бывал сыт, если не оказывалось хлеба. Хлеб, хлеб, хлеб! Не оторвавшись еще от материнской груди, человек уже познает вкус хлеба.

И тут я удивился вспыхнувшей мысли: вкус материн-

¹ Апа — мама.

² Айран — кислое молоко.

ского молока мы не помним, вкус хлеба проносим через всю жизнь, не отделяя первого от второго. Без хлеба нет жизни — это в широком смысле. А в житейском — нет без него счастья людям, достатка в доме, радости детям... Недаром русская пословица гласит, что хлеб всему голова. А как у нас говорят? Ничто так не украсит дастархан — накрытый стол, — как свежее выпеченный хлеб. В детстве, в те далекие уже для меня времена, не было у нас дня веселее, чем тот, когда пекли баурсаки — пончики из пресного теста. Постой, постой, а когда же случилось то, что мелькнуло в этом минутном сне?.. Год неурожайный, мне лет десять-одиннадцать... Добился-таки я тогда своего, вынул маму пойти по дворам. Умолила кого-то, умела бедняжка найти такие слова, которые и мертвого разбудят. Принесла, радуясь, две горсточку муки, сварила болтушку — танкерме. Видно, я и вправду тогда страдал без хлеба — вкус той мучной кашицы, кажется, навсегда прилип к нёбу. Может быть, с того дня взглянул я на жизнь по-взрослому, понял, какой ценой я ублажил свой желудок...

И не я один, наверное, так. В местечке Олентысаз жили в те времена три ровесника, три друга: Серижан, Токен и я. Сошлись, как три деревца срослись, плечо к плечу. Узнали мы от старших, что появились на свет осенью семнадцатого, когда чабаны пригнали уже отары на зимовку. Мы — ровесники революции. Выросли в одном ауле, как жеребята в одном табуне. Ничем друг от друга не отличались. Правда, Серижан держался немного заносчивее, различал людей по роду-племени и только для нас с Токеном делал исключение. Так и жили. Вместе уехали учиться в один город и на фронт ушли в один день. Токен стал летчиком, воевал под Ленинградом, летал в блокадный город с продовольствием, оттуда и пришло в аул письмо, что он пропал без вести. Серижан дошел до Берлина, вернулся — вся грудь в наградах...

Годы, годы... Издревле казахи делили их на периоды — мушели. Тринадцать лет прожил — первый мушель завершился, двадцать пять — второй. Потом тридцать семь, сорок девять, шестьдесят один, семьдесят три — и так до конца жизни. Каждый мушель — перевал дороги жизни, ее новый узел. Свой второй мушель, двадцатипятилетие, перевалил я в Ленинграде седьмого ноября сорок второго под артобстрелом и бомбежками. Второй узел своей жизни связал накрепко ночной атакой, поднял роту. Прорвались мы через окопы фашистов, вышли в расположение 85-й стрелко-

вой дивизии. Как кольчугой, прикрыла меня та ночь темной, спасла...

Третий мой перевал — тысяча девятьсот пятьдесят четвертый год. Я ждал больших перемен, и они пришли вместе с весной пятьдесят четвертого — начала новой жизни в северных целинных районах республики. Теперь это история, а тогда она свершалась на наших глазах и творилась нами, и менялась степь, наполнялась жизнь в степи неведомой до того сутью.

Случилось в тот год еще одно памятное событие. С тех пор как кончилась война, разошлись наши дороги с Серижаном. Виделись изредка, говорили мало. Сошел с главной дороги Серижан, погнался за барахлом, начал в дом добро тащить — не стало человека, а у меня — друга. Все равно что умер. И вот он родился заново, а мы обрели утраченного. И здесь помогла целина. Свежая волна целинного моря вынесла его на берег настоящей жизни. Мысль, возможно, и цветистая, но точная.

Вообще-то Серижану всегда везло. Четыре года в разведке — и ни одной царапины! А после войны кто стал самым зажиточным в Аккале? Серижан! Четырехкомнатный домина, крытый железом, машина. Говорят, не пойман — не вор, но я знал, что он нечист на руку, хотя и не попался. С виду Серижан красавец, под прицелом всех женских глаз в округе. Поет, играет на баяне, а если приходит на чью-то свадьбу и не хочет открыть лица невесты, значит, и нечего на нее смотреть: невзрачна. И рубаха-парень, и проныра, и доставала, и нужный человек...

...Познакомиться с этим малым мечтала и моя жена Меруерт. Меня беспокоила, конечно, скудость духовная друга детства, но в большей мере — страсть Меруерт к тряпкам, к вещам. Твой приятель прослыл стяжателем — это одно дело, хоть и невеселое, но если у твоей жены откроется склонность к стяжательству, то... Но, возможно, я преувеличиваю слабость Меруерт? Ведь она в сущности не алчная. Одним словом, как говорится, повадки моей лошади знаю только я.

Так случилось, что во второй половине февраля пятьдесят четвертого года особых срочных дел в районе не было, я взял очередной отпуск, и мы с Меруерт отправились в Аккалу, в гости к ее старшему брату. Самый разгар зимы, машина стара, дорога усыпана скрипучим снегом. По

пути гостим у аульных родственников, к которым давно не мог выбраться. Одно хорошо — буранов нет, но заснеженная степь бела, пустынна и однообразна. Дорожную скуку разгонял Камал, мой шофер; на казахском он говорит свободно, как на родном татарском, — вырос у нас, женат на казашке. Острослов, каких поискать, на весь Жетыкульский район славится байками и анекдотами. Неиссякаемый трепач. До сих пор для меня остается загадкой: сам он их придумывает или запоминает все, что ни услышит?

Но вот то ли его самого истории притомили, то ли что еще, только он вдруг оборачивается к нам с Меруерт и говорит:

— Джамии Мынбаевич, тетя Меруерт! Я немало знаю ваших пословиц, а смысл не всех понимаю. Особенно одной...

Я смотрю, он и голову к баранке опустил, усмешку прячет. Что-то опять вычудит.

— Ну и что же это за пословица? — спрашиваю.

— Щеголь дрожит, да не мерзнет. Как это понять?

Меруерт до этого ничего не брало, сидела надутая, все ей не нравилось. А тут рассмеялась.

— Ага, повеселели! — бросил Камал. — Ну правда, как понимать? Ведь если дрожит, значит, замерз, так почему же не мерзнет? Что-то не то.

Теперь я рассмеялся.

— Да просто вида не показывает, что ему холодно. Щеголь одевается легко, чтобы фасон держать. Зуб на зуб у него не попадает, но потеплее одеться не заставишь. Казахи как раньше считали: лучше одна добрая овчина, чем девять шелковых халатов, а щеголю это не по душе.

— Все это так, — Камал приоткрыл дверцу со своей стороны и с треском ее захлопнул. — Но кому и перед кем придет в голову щеголять в этой голой степи?

— Правильно говоришь! — Меруерт плотнее придвинулась ко мне, красивое лицо ее оживилось. — Мы, казахи, народ такой: терпим, да не признаемся. Пропадаем из-за своей стеснительности да скромности. Пытаемся соблюдать приличия и часто остаемся с носом.

— Нахалами, что ли, должны быть? — буркнул я.

Меруерт обиженно замолчала. Камал, будто почувствовал назревающий между нами спор, навалился на баранку, от греха подальше прибавил газу.

Что ж, надо прояснить, нельзя оставлять без внимания неверную мысль Меруерт.

— Скромность — понятие хорошее, а не ругательное: есть она, — значит, есть в человеке внутренняя природная культура. А нахалы, как правило, ленивы.

Меруерт вспыхнула:

— Да брось ты свое благочестие! Сказать, что каждый ленивый — нахал, всех казахов обидеть.

— Раньше — возможно, теперь — нет.

— Тогда почему бы тебе не перевоспитать своего родственника Медеубая? Сам же говоришь, что он образцово-показательный лежебока.

Вообще-то на людях она со мной так не разговаривает, но присутствие Камала ей не мешает: он с малых лет вырос среди нас, почти родственник, при нем мы говорим и спорим так, как не стали бы при других.

— Согласен. Медеубай — лентяй. — Я стараюсь выглядеть поостроже. — Но он, сама знаешь, человек старого склада. Его таким сделало однообразие кочевой жизни. Если подумать, то что уж ему такого надо делать, на что налетать, чтобы от работы ребра трещали? Посмотри, что он мог прибавить к бесконечной степи, которую ему дала сама природа? — Тут я подумал, что хватил через край, и решил все свести к шутке: — Вот, пожалуйста, такое однообразие даже мысли притупляет.

Меруерт не поняла, почему я постарался переменить тему разговора. Дело в том, что в наших спорах она побеждала меня молчанием. Я распалялся, говорил и говорил и не замечал, как оказывался в ловушке, ловко она их расставляла. Дай я сейчас ей возможность возразить мне, сказать, например: «Ну хорошо, что же теперь изменилось в степи? Разве это не она лежит, как и раньше, безмолвная и заснеженная?» — я бы попался. Степь все та же. Плоская, голая, мертвая. Она напоминает Ледовитый океан, сотворенный дикой природой без участия солнца и людей. Такое же бескрайнее пространство стужи, ледяной горизонт, так же над тобой нависает холодное небо, рвет дыхание мороз. И солнце, подвешенное к небу, как бы ни таращило свой глаз, так же не греет и напоминает застывшую от безветрия мельницу.

Ладно. Сейчас зима. Но, допустим, завтра растает снег, земля встряхнется, что изменится? Испарится влага, и все та же степь будет таять в миражах, а перекасти-поле — продолжать свой вечный бег. От аула до аула — как от материка до материка. Так создано ли это мертвящее пространство для человека? Где взять силы, чтобы одолеть его?

Почему эту степь не заполняют города с заводами, фабриками? Потому что нужно очень много людей, рабочих рук. И еще — могучая воля большинства, все, что ни делается руками человека, делается по этой воле.

Тридцать четыре года советской власти сделали с нашим национальным сознанием то, чего не сделали столетия. Жизнь изменилась в корне, только степь пока остается прежней. Всей сути тягучей прошлой жизни как нельзя лучше соответствовала какая-то дикая торжественность степи, ее ледяной блеск. А когда вихрем нового времени все унесло и Великие Перемены стали постепенно проникать в бескрайние просторы и утверждаться здесь, контраст между новой жизнью и наполовину мертвой округой был не в пользу бывшего степного величия. Степь как бы увяла, замерла в ожидании. Рано или поздно новая суть, изменившая жизнь людей, должна была изменить и степь.

Эта новая суть — за каждой строчкой решений Пленума ЦК партии, состоявшегося в сентябре минувшего года. Надо действовать, товарищ секретарь райкома. Третий год я в этой должности в Жетыкульском районе. За три года продукции не прибавили, сдвигов никаких. А сколько здесь лежит неосвоенной земли! Но как ее поднимешь, когда мало техники, средств, нет кадров, грамотно разбирающихся в деле? Из двух колхозов в одном обязательно сидит такой неграмотный председатель, как, например, мой свояк Орынша. Куда с ним пойдешь? Сколько раз возил я в обком заявления, просил снять меня и назначить на любую другую работу. «Хорошо, освободим тебя, а кого ты вместо себя предложишь? — напирал на меня Семен Данилович, первый секретарь обкома. — Да, трудно. Да, не хватает квалифицированных кадров. Ты открытия не сделал. Вот когда, сидя на своем месте, ты найдешь выход из сложившегося положения, вот тогда сделаешь открытие. Тогда отпущу».

В чем же этот выход? Я настолько ушел в свои мысли, что не заметил, как подъехали к Тузкале. Тут двигатель беспомерно взвыл, радиатор засипел паром, машина кряхтя въехала на пригорок и встала.

— Все! Шайтан дальше не покатит! — чертыхнулся Камал, открыв капот. — Радиатор лопнул!

— Ну вот, вляпались, — недовольно завозилась на сиденье Меруерт.

Я подумал раздраженно: «Ты бы хоть сейчас не ворчала», а Камала бодро спросил:

— Так что будем делать, братец?

— Не беспокойтесь, не в степи засели, добудем что-нибудь,— еще бодрее ответил тот, растирая прихваченные морозом щеки.— Не сидите в машине— замерзнете. Зайдите в какой-нибудь дом, погрейтесь. А я... У меня тут кореш один есть...

— Что еще за кореш?

— Так, человек один... У него своя машина.— И Камал припустил в поселок.

— Какая надежда зимой на твою железную клячу? Говорила ведь, давай на лошадях поедем. Нет, ты не согласился. Вечно на своем настаиваешь...— продолжала ворчать Меруерт, упрямясь и не выходя из машины.

— Зато теперь будет по-твоему,— смеюсь я в ответ,— дальше поедем верхом. Не зря в степи говорят: дорожные муки — смертные муки. Терпеть надо!

Меруерт пустила слезу.

— Раз в жизни взял с собой — и во что превратил поездку? Если бы у тебя, оттого что ты кому-то вредишь, рога росли, они были бы уже с дерево!

— Ой-бай, Make, ну прости, я пошутил! — вырвалось у меня от удивления: такими словами жена меня еще не угощала.

И тут я увидел, как от аула к нам вырывается «Победа».

— Вон Камал едет, это он! — сказал я, изображая детскую радость.

Сказать-то сказал, но сам в это не поверил. Когда же машина подъехала к нам, в ней и правда сидел Камал, а за рулем — Серижан! Откуда он здесь? Меруерт, как услышала имя Серижана, тут же выпорхнула на мороз.

— Вот видите, не было бы счастья да несчастье помогло! — улыбнулся я.

— Салам алейкум, хозяин! — закричал Серижан, высываясь на ходу и притормаживая машину.— Вынужденная посадка? — он вышел из «Победы» и шагнул к Меруерт.— А, и женгей¹ тут! Вы ведь из тех, кого в гости не дозовешься!

— Нет, сегодня-то мы должны доехать, куда направляемся,— ответил я.

Мои слова явно не понравились Меруерт. Но она добавила, поддерживая все-таки меня:

¹ Женгей — уважительное обращение к женщине.

— Да, мы обязательно должны сегодня попасть к сестре. Ну и дорога! Всю душу вымотала. Отдохнуть бы, что ли, немного...

— Это можно, это в наших руках! — ответил Серижан с некоторой похвальбой, приглашая в «Псбеду».

Мы расположились в уютной, как гнездышко, Серижановой машине на сиденьях, покрытых тонким шелковым ковром.

— Заедем к нам? — предложил наш изводитель. — Есть медовуха! — И опять с похвальбой.

Жена Серижана русская. Тесть его Жеваго — казахи на свой лад звали его Жабагы, Руно, — до коллективизации владел ветряной мельницей в Тузкале, был в свое время богат. Куда до него кулаку!

— Нет, спасибо! — я отказался, потому что считал для себя неудобным быть гостем такого дома да еще распивать там медовуху. — Время позднее, темнеет, а нам далеко еще. Ты — старый друг, ты поймешь и не осудишь.

Серижан кивнул кудрявой головой. Не заезжая к тестю, высадил по пути Камала и двинул прямо через аул. Мне всегда нравилась его резкость и прямота. Оценил я их и сейчас. Упрям. Решителен. И в самый разгар зимы одет налегке: кожаная куртка, голова непокрытая. Со спины выглядит солиднее, словно всей своей фигурой показывает: смотрите, я шуток не люблю!

Меруерт то и дело бросает на меня взгляды, чуть не хлопает длинными ресницами. Чувствую, хочет о чем-то спросить. Я еще не забыл, что огорчил ее, когда наша машина остановилась. Учтя это да и для того, чтобы порасспросить старого друга, завожу разговор:

— Серижан, отец-то жив-здоров? Что-то ты редко стал приезжать в аул.

Серижан кивает головой: дескать, все понял, но молчит. Потом бросает наконец:

— Как-нибудь приеду...

Я заговорил, поглядывая на Меруерт, чтобы заручиться ее поддержкой:

— Нет, ты обязательно приезжай. И к нам заходи. Меруерт для тебя какая женгей? Сверстница. Хоть с тобой и не знакома была, а от людей много о тебе хорошего слышала.

Серижан — ни звука, только снова головой кивнул. Затылок его излучает самодовольство. Минуту спустя сунул руку за пазуху, вытащил маленький футляр.

— Взгляните-ка на эту штучку! — протянул он футляр Меруерт.

Что в нем? Известное дело — золотое кольцо с горошинкой изумруда.

— В самый раз! — поразилась Меруерт, примерив кольцо и отводя руку, чтобы полюбоваться, как оно сидит на безымянном пальце.

Серижан, припав к рулю, бросил небрежно:

— Если так, не трудитесь снимать. Оно ваше.

Меруерт просияла:

— Джамии! — жена изменила своей привычке не обращаться ко мне по имени при людях. — Сколько оно стоит?

Я пожал плечами.

— Да уж немало, верно, Серижан?

— Три тысячи.

— Таких денег у нас нет, — сказал я.

Меруерт одарила меня одним из своих выразительных взглядов, не спеша положила кольцо в бархатную коробочку и молча вернула хозяйну. Серижан только головой повел. Что значило: как хотите! Он такой — мастер и на падать, и защищаться.

Надо было как-то разрушить неловкое молчание. Вдруг я вспомнил родственника Серижана в Кызылкогаме Шахарбека и ухватился за него, как утопающий за соломинку. Шахарбек — внук знаменитого в свои времена Кудери-бия. Во время войны он где-то пропадал, вернулся и сейчас пасет лошадей единоличников Олентысаза. С Серижаном они состоят в каком-то родстве.

— Кстати, ты видишься с Шахарбеком? У него ведь новости, — начал я, обрадованный, что тема для другого разговора нашлась.

Серижан спросил небрежно:

— Что за новость?

— Кажется, собирается жениться. Недаром говорят: «И старому коню в скакуны охота».

— Какой же он старик? Сорок лет мужику, в самой силе, — подключилась Меруерт, явно давая понять, что она на стороне Шахарбека.

— Кто же невеста?

— Казына!

— Астапыралла! Господи помилуй! — выдохнул Серижан, рванув ворот рубахи. Отличный водитель, тут он даже про дорогу забыл, и машина полезла в сугроб. — Зачем

ей, бедняжке, этот дуболом? Испугалась, что без мужика останется?

— Вот оно что, черт возьми! — вырвалось у меня в сердцах. — Она ведь сельхозтехникум кончила, мы ее к тем кадрам относим, на которые рассчитываем в будущем. Другой женщины разве не нашлось Шахарбеку? И потом — бывшая невеста Токена... Горько...

— Не только горько, но и позорно! — Я уже не узнаю Серижана. — Плевать на память о погибшем?

Его запальчивая речь не нравится, чувствую, Меруерт. Но она не дает работы своему острому язычку, видимо из-за кольца. Ее родная сестра Дария — жена председателя колхоза в Кызылкогае, где живет Казына. А председатель — мой свояк Орынша Баспаков — друг Шахарбека. Как тут не вступиться?

— Токен пропал без вести. Прождала десять лет уже. Не первой юности невеста. И даже не второй. Сколько ж можно ждать, если неизвестно, жив ли, нет ли жених? Вы говорите, что Шахарбек ей не пара. А народ мудрее нас говорит: «Пусть у женщины голова из чистого золота, но мужчина даже с медной головой дороже». Она моложе меня на три года, но как на нее можно рассчитывать в будущем, на эту Казыну, тем более что она еще учиться собирается?

— Человеком станет. Пользу людям будет приносить.

— Аллах с ней! — махнула рукой Меруерт. — Пусть приносит. А Шахарбек и не женится на ней, не такая уж и пара ему ваша старая дева.

Мне не хотелось продолжать спор при Серижан. Джигит сообразительный, он спиной чуял, какая сзади обстановка, потому что сказал:

— Да, правда, мы родственники с Шахарбеком. Но не попрекайте меня этим. — Только теперь он вывел машину, буксующую в снегу, на дорожную колею. — Казына мне ближе. Кстати, она соседка моих стариков. Я ее за сестру считаю. Да к тому же... — голос Серижана задрожал, осекся. — Чего стоит хотя бы то, что она столько лет ждала Токена! За одно это уважаю ее. Близко все... Будто вчера ушли мы на фронт, связав наши судьбы в один узел.

— У Токена своя судьба, не будем о нем... Больно...

— Эх вы, мужчины! — не выдержала Меруерт. — Поступаете по правилу: кто носит одинаковые малахай, у тех и мысли схожи! Не то!

— Что «не то»? — я круто повернулся к жене.

— Лучше живая мышь, чем мертвый лев.

Я злился на нее, не понимая почему, и сказал резко, не считаясь, что мы были не одни:

— Ты же не знала Токена, поэтому помолчи...

Спор вспыхнул пожаром, и мы не заметили, как въехали в Аккалу. На крышах домов чистый, тяжелыми пластами снег, прохожих мало. Мне всегда нравился вид застывшей зимней Аккалы.

У дома брата Меруерт Серижан затормозил. Мы вышли.

— Еще увидимся! — сказал он. Меруерт, сделав для него улыбку, помахала вслед рукой.

Я промолчал. Что со мной? Все тело ломало. Когда вылезал из машины, даже пошатнулся, чуть было не упал. Может, в серижановском «увидимся!» кроется особый смысл? Нет, тревожно стало не от этого слова. Токен! Вот кто душу мне смутил. Я ведь его часто вспоминаю, вижу во сне. Но как же я совсем из памяти выпустил, что Казына — его невеста! Что он всем нам наказывал позаботиться о ней, если что с ним... Бедный Токен, ты, оказывается, был провидцем.

Пока я заходил в дом, вдруг отчетливо вспомнил, как он шутил: «Она будет ждать меня, потом останется одна, а что вы тогда будете делать, а?» Да, Токен, как ты говорил, так в точности и вышло: с глаз долой — из сердца вон. Мы забыли тебя, жили, будто ничего не случилось, суетились в своем повседневье, а ты стал мифом. Разве это справедливо? Если мы предаем забвению тех, кто не вернулся, и то, что они нам завещали, снимаем со счетов жизни их надежды, за что тогда в этой короткой жизни драться, к чему пробиваться, зачем суетиться? Почему человек живет по принципу «еще успеется»? Смерти своей не боится. Или боится, но не верит в нее? Или не думает он о ней? Почему же не думает? Думает! А почему тогда не боится...

От таких мыслей вид у меня, наверное, был неподходящим для роли радостного гостя, потому что хозяйева дома, брат и невестка Меруерт, очень спокойные и выдержанные, как и подобает их профессии, а работали они учителями в средней школе Аккалы, двигались по комнатам тихо, говорили шепотом, будто в доме не гость объявился, а больной. А меня это угнетало еще больше, было неловко оттого, что я не могу перебороть себя, освободиться от скованности. Я погас, словно во мне произошло короткое за-

мыкание и перегорели проводки хорошего настроения. Теперь я не скоро приду в себя. И все — и смех, и слова мои — будут неестественными.

Мы допивали чай, когда пришел Журсин. Дальний родственник моей жены. Он работает в областной газете, я знаю его давно. Всем он известен как неутомимый говорун, не успеет переступить порог и прилечь на кошму или сесть рядом с тобой, колено к колену, как между чаем и мясом уже выложит все последние новости Аккалы.

Слушая Журсина, интересно следить за его лицом. Вид у него человека наивного, не ведающего ни хитростей, ни обмана простачка. А что за этим кроется? О! Если его уличат во вранье, он не станет спорить, доказывать, мол, моя правда! Нет, он только сузит и без того узкие глаза, и они начнут посверкивать, а сам станет тихо посмеиваться, потирая свой бесформенный крупный нос.

В этот приход Журсин выглядел спокойным.

— Джами-ага, с отпуском! — сказал он с порога, не проходя в дом и не снимая одежды. — Физкультпривет!

— Привет, привет!..

— Раздевайся, проходи. Что, горяченького налить? — спросила хозяйка, глянув на него из-за самовара.

— Я — провидец. Не видать вам в этом году отдыха, — продолжал Журсин.

— Пропади ты пропадом, никогда от тебя доброго слова не услышишь! — вырвалось у Меруерт; она дождалась наконец повода, чтобы излить свое раздражение.

Журсин разделся, подсел к дастархану, и разговор, начало которого так меня удивило, завертелся вокруг моего отдыха.

— Год нынешний, пятьдесят четвертый, запомнится навсегда и войдет в историю как год, открывающий эпоху изобилия! — велеречиво произнес он, располагаясь поудобнее.

— А тебе откуда известно? На ушко шепнули?

— Сон видел...

— А-а! Ну, тогда все ясно, конечно, источник надежный, — начала с ехидцей Меруерт. — Вот почему ты, оказывается, покой потерял!

— Не то, не то... Вот Джами-ага знает... — Журсин, гнездясь, как носатая птица, загудел вовсю. — Не сон, а решение прошлогоднего, сентябрьского Пленума. Кто читал, тот должен был заметить в первую очередь...

— Что же? — невольно вырвалось у меня.

Журсин ответил вопросом на вопрос:

— «Поднятую целину» Шолохова читали, надеюсь?

Я кивнул.

— Читали. Хорошо. А сколько у нас в Казахстане сотен тысяч гектаров целинной земли гуляет? Приходила когда-нибудь такая мысль?

— Отчего же, приходила.— Я засмеялся.— В начале двадцатых годов Ленин говорил об этом.

— Вот! Вот! — воскликнул Журсин; он приподнялся и встал на одно колено.— Сентябрьский Пленум и есть начало добрых перемен. Увидите, как наши бескрайние степи от края до края распорет плуг!

«От шута вести быстрее доходят» — так говорят, хотя «провидения» Журсина для меня не новость. Как только минувшей осенью по всем районам начали обмерять земли, я понял, что ждут нас серьезные дела. Но все-таки интересно: в планах, которые еще не обнародованы, Журсин говорит так, будто сам эти планы составлял.

— Ты слышал от кого-то или это только твои предположения?

— Мои, собственные.— Журсин снова сел, как угнездился.

Машрап, хозяин дома, из тех молчунов, которых даже землетрясение не вынудит слова вымолвить, вмешался в разговор:

— Нет на него напасти! И вправду, ясновидящий. Разве не он в прошлый раз за два дня наперед предсказал, что у Ракая серую кобылицу молнией убьет?

— Разве можно такое сравнивать? Это же небо и земля!

— Не спорьте и не смейтесь. Я действительно видел сон,— сказал Журсин и мечтательно уставился в потолок.— И снилось мне, будто течет по степям Сары-арки бурная золотая река...

Машрап, очевидно, подумал, что обидел Журсина, и решил исправить:

— Сон — это желание человека. Если ты видел золотую реку, значит, добьешься полного благополучия.

Журсину это не подошло.

— Ну, дорогой аксакал, вы и скажете! Кто это видел, чтобы я гонялся за благополучием?! Если оно есть у людей, значит, есть и у меня.

— Хорошо, допустим, что так. Тогда что ты хочешь этим сказать?

— А то, что наш Казахстан превратится в хлебную, в зерновую республику. И встанут на степных токах золотые горы. Вот!

— О, тогда масла тебе на язык! — произнес сроду никого не обидевший Машрап и посмотрел на жену. — Что жалеешь? Принеси его любимый продукт. Сегодня его па-рень заработал!

— А наконец-то! — обрадовался Журсин, потирая руки. — Сегодня я и без того одно большое дело добил.

— Что за дело?

— Секрет, ага! Тайна газеты...

— Нет, ты расскажешь! — капризно потребовала Меруерт.

— Вообще-то ничего особенного нет, — начал Журсин, потеряв свой бесформенный нос. — Есть тут один жулик, который долго не давал схватить себя за хвост. Но я наконец-то напал на его след.

— Кто такой?

Журсин начал увиливать:

— Ну... один человек... Здешний...

— У него что ж, имени нет?

— Ну, ага, и прижали... Ну, Серижан...

— Серижан? Тот самый, что привез нас сюда?

— Тот...

— В чем же его вина? — напали мы с Меруерт.

— Так... Стало быть, вы защищаете человека, который ни в огне не горит, ни в воде не тонет, а? — спросил Журсин. Неторопливо открыл бутылку и налил водки — только себе. — Зря вы уселись в его тачку.

— Почему? Что он такого, бедолага, совершил, что с ним и рядом быть — почти преступление?

— Он не бедолага, мошенник он! Хищник ненасытный. Нужно аннулировать такого подлеца!

— Зачем ты такие слова произносишь в моем доме? — вступил теперь в разговор вконец расстроенный Машрап. — Он славный малый и при встрече всегда здоровается первым. Как легко запросто очернить приличного человека!

Журсин поднялся:

— Джами-ага, простите, но остаться не могу — есть спешное дело.

— И все же?..

— Спасибо. Отложим до лучших дней... — Журсин поднял указательный палец, сказал свое привычное «Физкульт!» и вышел.